Юрский Сергей 23.01.97.

ОБЩАЯ ГАЗЕТА

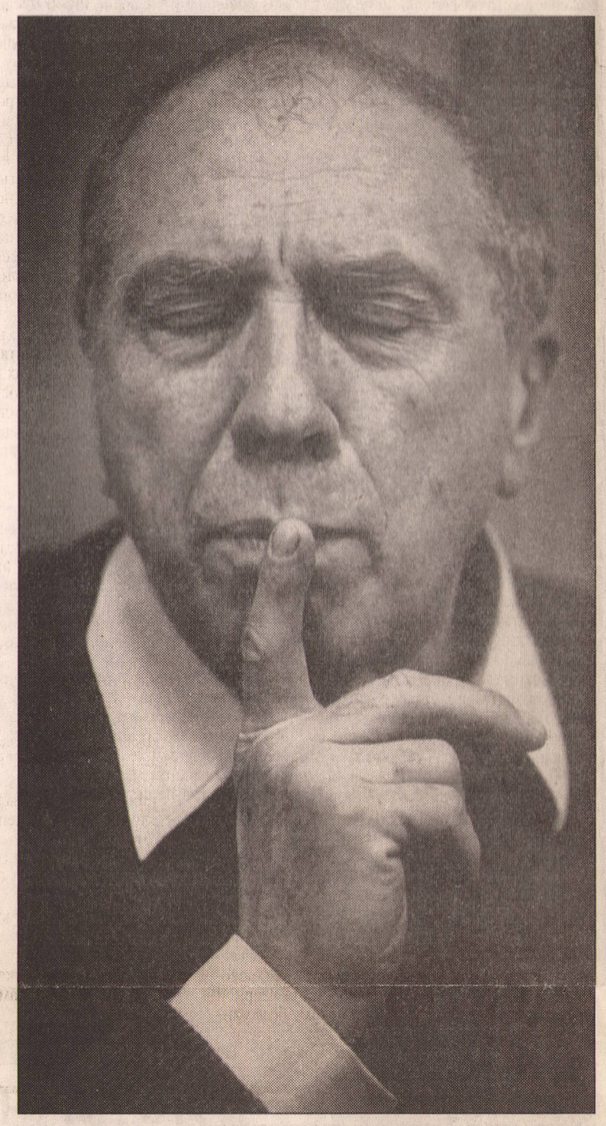
23 — 29 ЯНВАРЯ 1997 ГОДА. № 3 (182)

Уходит пушкинская эпоха

– Какое время было для вас лучшим в жизни и творчестве?
– Чем для вас был ввод советских войск в Прагу и война в Чечне?
– Что происходит со стареющим актером?

В ЧЕТВЕРГ ПОУТРУ

Представлять Сергея ЮРСКОГО – только отбирать время драгоценной его речи. Актер, театральный режиссер и режиссер кино, прозаик и поэт, педагог. После случившейся в прошлом году болезни полон сил и замыслов, играет в трех театрах, записывается на радио и на телевидении, выступает с моноспектаклями. «Что ему почет и слава, место в мире и молва в миг, когда дыханьем сплава в Слово сплочены слова», – как писал любимый им Пастернак. Отсвет творческого горения Сергея Юрьевича лег во время встречи с ним и на нас. «Как передать на бумаге все богатство жестов, пауз, смыслов и интонаций? – задумались мы. – Пора делать телевизионную версию наших четвергов!»



Жизнь между юбилеем и поминанием

– На то, какое время для меня самое лучшее, у меня есть вполне определенный ответ: 90-е годы XX века. То есть сейчас. К примеру, я первый раз в жизни пользуюсь таким вниманием уважаемых мной журналистов во главе с главным редактором. Я не обделен вниманием ни зрителей, ни критики, но вот такое происходит первый раз.

Это время соединяет две вещи, которые мне в радость. С одной стороны, у меня есть доверие зрителей и людей, среди которых я живу. С другой стороны, я еще могу действовать, потому что часто доверие приходит уже тогда, когда человек ничего не может. Сколько времени продлится такое сочетание, я не знаю. Но именно эта радость дает мне возможность преодолевать ужас жизни, в котором я живу, и пессимизм, которым я серьезно поражен.

Могу сказать, что моя судьба сломалась 21 августа 1968 года. Тогда я был в Праге, в которую вошли советские танки. С этого момента начались двадцать два года уныния. Что бы ни происходило, фоном было – уныние. Только под конец этого длительного срока, попав в болезненное состояние, я понял, что мало того, что это нехорошо, это еще и грех. При том, что все основания для уныния были. А два признака этого уныния были таковы: я разлюбил рассказывать и слушать анекдоты, а до этого был профессионалом. И разлюбил играть на гитаре и сочинять песни для гитары, в чем тоже был профессионалом.

Конечно, жизнь шла, и я ценю целый ряд театральных спектаклей и фильмов, сделанных в этот унылый период. Но это другое, это работа, и работа иногда очень качественная. Спасибо, что были силы трудиться, и были сделаны вещи, которые мне очень дороги. Но уныние как фон делало жизнь не только трудной, чем я не хвастаюсь, но и неправильной. Я вообще ни во что не верил, только в стойкость. Я – преодолевал.

Вот ощущение, мимолетный проблеск в памяти, две встречи. Одна на Кутузовском проспекте в Москве, в распутицу, в сумерки, встреча с человеком, у которого явно, как у меня, протекают ботинки, который небрит, у которого сумка с пустыми бутылками для сдачи. И мимолетный разговор с ним о том, что «ну и погодка!». Это – Лен Карпинский в один из каких-то нехороших периодов. Мы даже не очень знакомы.

Второй проблеск, время изменилось. Лен Карпинский вместе с Егором Яковлевым около Гран-Пале в Париже, ночью, мы сталкиваемся, они оба собираются на балет Бежара про Французскую революцию.

Я пытаюсь наложить одну встречу на одно время, другую – на другое, но ушла ли в связи с переменой времен трагедия? Нет, не ушла. И то, о чем думал и писал Карпинский, оставалось болью. И он, не изменив себе, ушел из жизни трагично и больно. Но на этом фоне полного уныния все радости жизни были именно тогда, в эти самые двадцать два года. Любовь, веселье, остроумие – тогда, не теперь. Оказывается, на черном фоне можно очень красиво рисовать разные лица и узоры.

Теперь другая ситуация, наоборот. Фон становится пестрым, интересным, красочным, иногда просто ослепительным. Но на этом ослепительном фоне фигуры скукоживаются, сереют, и мало кому удается сохранить свое прежнее лицо. Идет деформация лиц, которую я наблюдаю и в себе, и в окружающих, что меня очень тревожит. Вы скажете, это от возраста. Да, но скорость, с которой идет деформация, – усилилась. Поэтому мне кажется, это происходит и с более молодыми людьми.

В чем дело? Для меня Чехия оказалась совершенно чудовищным ударом, как в 68-м году Чехословакия. Но тогда, в соответствии со временем, я промолчал – не сподличал, не могу себя упрекнуть, – но просто спрятался от тех же газет. Я оказался одним из немногих, кто был в то время в Праге нейтральным свидетелем случившегося, и за мной гонялись, чтобы я обвинил чехов. Чтобы не заниматься этим, я написал отчет, в котором сказал, что совершенно не согласен с нашими действиями. И отдал его не в газету, а в «Общество дружбы», которое меня и послало. Вот и вся моя смелость. В отличие от этого и в духе времени я по поводу Чехии написал сразу в «Известия» и совершенно определенно высказал свою точку зрения. С адресами и фамилиями тех, кого я считаю в этом деле виновными. Но было столь же страшно.

Что же с моей унылостью? В том-то и дело, что исчезло болезненное чувство черного фона. Потому что к этому периоду я, наверное, понял, что кроме горизонтальных связей в нашей жизни есть еще некие вертикальные связи, когда ты можешь поднять голову к небу. И каждый человек при всех его дружбах и враждах еще и достаточно одинок, чтобы стоять на земле сам по себе.

Крест строится на двух планках. Я говорю не о кресте Распятого, а о символе, об ориентире в мире. Думать, что все решают люди, их кланы, их власть и мнения, – это идти к душевной и духовной смерти, к неточной ориентации. Официальное мнение, мнение большинства может, как болезнь, вдруг исчезнуть. Или по непонятным причинам общая точка зрения меняется. И тогда оказывается, что это мнение давит слабых. А сильными становятся двумя путями. Либо соединяясь с другими и создавая свой клан. Но к этому я не склонен в силу эгоизма и индивидуальности – мне неохота входить в чужой клан. Либо окончательно понимая мысль Ибсена, которой кончается одна из его великих пьес. «Я понял великую истину, – говорит доктор Штокман, – более всех силен тот, кто более всех одинок». Я с детства любил Ибсена, но этой фразы не понимал, а теперь начинаю понимать.

Трагедия никуда не уходит. Сегодня будет отмечаться десять лет со дня смерти Эфроса: «Жизнь вообще трагична» – так называлось его последнее интервью. Да, это есть, но при всем том уныние, полный черный цвет и желание «выйти» – это грех, теперь я это знаю и, кажется, способен ходить по земле без скорбно поджатых губ.

Я скажу о том контексте, с которым у вас оказался. Это контекст непрерывных поминаний. Может, действительно, такова жизнь? Вчера мы отмечали тридцать лет фильма «Республика ШКИД», вспоминали умершего в Америке Леву Вайнштейна, Павла Луспекаева, с которым мы вместе работали. Сегодня – Эфрос, и я веду этот вечер. Вчера же записал для радио сорокаминутный монолог памяти Товстоногова. Завтра будем записывать для передачи Леонида Филатова «Чтобы помнили...» о замечательном человеке Павле Петровиче Панкове. Вечером, наверное, пойду на фильм Хржановского «Воспоминания об Олеге Кагане». Это не насилие над собой: я – должен. Просто тяжело, потому что жизнь становится сплошным поминанием. От всего этого возникает ощущение, что приблизился Страшный суд и мы готовимся к тому, чтобы предъявить какой-то адвокатский счет. Такова сейчас наша общественная жизнь: от юбилея – к поминанию, от поминания – к юбилею. А сегодняшний день при этом ускользает, не успеваешь его ухватить. Зачастую весь день проходит в поминаниях и поздравлениях. А подумать про сегодняшнее, сиюсекундное состояние, без этого ведь тоже трудновато дышать. Я бы, например, очень хотел оторвать моего уважаемого товарища по сцене, по жизни Леонида Филатова, от серии «Чтобы помнили...» Пусть кто-то другой продолжает. Он отдал свой долг, я хотел бы, чтобы он вздохнул сегодняшним воздухом.

Мы говорили о деформации. Вот слово, которое меня мучает, которое я боюсь произнести. Потому что, когда ты наблюдаешь в зеркале деформацию какой-нибудь части своего тела – это тяжелое переживание. Хотя бы потому, что здесь присутствует жуткое слово «навсегда». Когда ты видишь деформацию окружающих тебя людей, знакомых, родных, любимых лиц – это очень страшно. До какой поры можно терпеть эту деформацию? Может, подлинное смирение сказать: «Нет, дальше я не могу терпеть, я не могу это видеть, я не хочу жить!»? Может, так происходит? Я этого еще не знаю.

Об этом были «Стулья» Ионеско. Об этом же последняя работа – «После репетиции» Бергмана. Все, что говорит актриса Ракель о деформации лица, ногтей и всего прочего – это очень меня волнует, мучает. И при всем том, видите, какое противоречие: вы спрашиваете, какое время считаете для себя лучшим, а я отвечаю – сейчас.

Да, сейчас мне максимально свободно и интересно. Когда пропадает интерес, тогда и возникает деформация. Эйзенштейн говорил, что человек кончается, когда затухают его сексуальные возможности. Он говорил, что сразу покончит с собой. Но думаю, что это ошибочная точка зрения, потому что все в руке Божьей и никто никогда не может знать, кончилось или не кончилось, никакой врач и никакой диагноз. Существует что-то другое. Что – я не знаю. Но вот там, за чертой деформации, за ней страшно.

МЫ

– В чем позитивная энергия нашего времени?
– Как вы ощущаете себя в нынешнем театре?
– Вы не боитесь оказаться ретроградом?

Театр от противного. От очень противного

– За эти дни нового, 1997 года у меня слились три впечатления. Два я привез из Челябинска, третье – московское. В Челябинске приходит ко мне после спектакля мой старый знакомый, начинавший в «черно-фоновые» времена как большой любитель Есенина, а сейчас у него издательство «Алексей Казаков со товарищи».

Он вынимает разные книжки, которые издал, красивые очень, и одна из них – большой том поэзии, прозы, сценариев, эссе Леры Авербах. Я смотрю на портрет девочки, которая на обложке, и с удивлением говорю: «Я ее знаю». Он говорит: «Да, вы ее знаете. Она подходила к вам после концерта в Нью-Йорке». – «Да, да. И подарила мне книжку своих стихов, которые мне очень понравились, но я не знал, как ей это сказать, потому что уже уехал в другой город. Так где она?» – «Там».

Она поехала в Америку с группой молодых людей, ей было 16 лет. Проезжая через Нью-Йорк, где осматривала город, зашла в консерваторию, куда была немедленно принята. Сейчас она окончила две консерватории, взяла несколько больших международных премий, написала много симфонических и других произведений, написала стихи, прозу, эссе, сценарии – вот этот том. Между прочим, окончила консерватории по классу композиции, фортепьяно, флейты и скрипки.

Стихи хорошие, но не будем даже говорить о качестве, вдруг вы мне не поверите. Поверьте просто количеству сделанного. Ей сейчас 23 года. Я был так поражен, что даже успел записать за три дня в Челябинске диск ее стихов. Утром, на телевидении, вместе с ее родителями, которые там в Челябинске живут. И даже рассказал об этом публично на концерте, который был у меня после спектакля.

В последний день у меня опять появляется Казаков и говорит: «Я вижу, вы всерьез заинтересовались, мне это нравится, вот вам подарок». Дает им же роскошно изданный том, шестьсот страниц: «Илья Банников. Проза, статьи, эссе, рисунки». Автору 24 года, он уже погиб. Я еще не вчитался, еще не совсем понял, как он погиб, знаю только, что в связи с событиями в Приднестровье. Был активистом приднестровской армии, журналистом, был награжден крестом. Тут еще надо разобраться, что к чему, но я говорю о мощности поколения.

Тут же сталкиваюсь еще с одним человеком. Михаил Нодель. Это уже Москва. Его отца я знаю довольно давно, он не появлялся два года, а тут вдруг сообщает: «Мой Миша умер». Был журналистом, поехал в Грузию брать интервью. В холодном ледяном озере остановилось при купании сердце. Страшно. 19 лет. Отец присылает мне пакет: газеты и журналы двух последних лет, и я вижу, что это совершенно классный журналист. И его стихи, и проза, и то, что о нем пишут, показывает, что это тоже – фигура.

Вот три человека, которые дали мне ощущение какого-то нового пространства. Если на меня, специально не ищущего, довольно замкнуто живущего человека, за две недели, как магнитом, вдруг притягивает эти три имени, значит, это не случайно. Это поколение моей дочери, люди, родившиеся в 70-х. Я даже не знаю, поколение ли это. Может, опровержение поколения, то есть тех людей, которые в гигантском количестве выходят махать руками, когда со сцены начинает идти дым. Тоже понятно: земля перенаселена, молодежь все время чувствует, что ей некуда деваться, потому что их – много. Может, те трое лишь опровержение этой массовости, этого ощущения, что вот мой идол, а я песчинка, растворенная в наркоте, не знаю.

Вообще, мне кажется, мы сейчас в конце тысячелетия находимся в состоянии ответного удара по нам всего того, чему мы нанесли удар и очень этим гордились, называя «величием человека». Все процессы вышли из повиновения – природы, психики, всего живого, мысли, искусства. Все мстит, выйдя из-под контроля.

В театре распространилось жуткое шарлатанство, обман в невероятных количествах, причем на международном уровне. Здесь, как в религии, появилось множество школ, гуру, пророков, но это чаще всего лжепророки, лжеучителя, от которых идут лжеученики.

Я не хотел бы заниматься критикой, но я посмотрел сейчас несколько спектаклей, после которых мне стало стыдно за профессию, за себя, не хочется на сцену после такого выходить. Чудовищно. Это низкопробно по материалу. Отсутствие цензуры принято за разрешение отсутствия всякого вкуса и всяких границ. Есть вещи для бульварных театриков, сходных со стриптизом. Там нужно соответствующим образом играть, туда подбирается соответствующая публика, там соответствующие цены. У нас же в связи со свободой, так нами понятой, эти вещи оказываются в театре с солидным названием, под святыми именами, на больших сценах, в громадных помещениях. И публика – святая наша публика! – все это съедает. Театры опять битком. Принимают – замечательно. Отрава съедается в огромных количествах. «Ой, смотри, какая прелесть, как легко! Это же такая мерзость... о которой я всю жизнь мечтал. Мало того, это я раньше думал, что мерзость, мне было стыдновато, а теперь я вижу, что это правильно. Вот и журнал, – смотри, надо же какая задница! И тут все про это, про гермафродитов, я всегда боялся, а, оказывается, только про это и надо!..»

Если мы не опомнимся, мы всех отравим, и эта отрава потом пойдет на нас. Ответный удар будет гораздо сильнее, чем он сейчас, еще страшнее.

Вот мне недавно приносит пьесу довольно известный драматург. Я даже не знаю, как это назвать... Она более, чем похабная. Любовь к смерти, к гною, к грязи, к разложению, матерный язык... Ну невыносимая, чистая некрофилия. Я говорю ему: «Вы знаете, мне это не нравится, это само собой. Но я вам советую, независимо от того, верующий вы или неверующий, вот вы сейчас пойдете по улице, и первое, что увидите, неважно что – церковь, костел, мечеть, синагогу... Если только открыто. Войдите, встаньте на колени и просто скажите: «Прости меня, Господи...» И постойте так. А потом идите дальше и живите как хотите».

Он мне сказал совершенно замечательную вещь в ответ. Он говорит: «Ну я так и знал, что вы так скажете. Ну вы весь в этом! Ну вы все такие, шестидесятники!»

Я не могу сказать, что я очень смелый человек, во всяком случае, не доказал своей смелости какими-то особыми вещами. Но я не боюсь, что меня сочтут консерватором, чтобы из-за этого не говорить о том, что мне не нравится. Наоборот, я говорю, что наше поколение очень виновато именно тем, что зачастую боится это сказать, чтобы не услышать: «Ой, состарились, не понимают нас, молодых...» Если что-то плохо сделано – обязательно надо говорить.

Да, театр – трибуна. Хотя сейчас он стремится к ярмарке, к балагану: «Идите к нам! Мы вам такое покажем, чего нет у других! У нас все ярче, у нас знаменитости, имена!» Главное сейчас – имена. А когда имен не хватает, тогда их делают, надувают, и много надутых имен. Но они же прокалываются все время, и приходится надувать новые!

Я, честно говоря, люблю театр, который позволяет себе не зазывать, а, наоборот, сказать: «Нет, никто не должен присутствовать!» И люди приходят, просовываются: «Как это – никто? А мы? Мы тихо посидим...» Ну посидите.

В спектакле «После репетиции» во МХАТе вся хитрость автора состоит в том, что зритель поставлен в условия, когда его не должно быть. Там действительно трибуна, более того – лекция. Но произносятся вещи, которые могут быть сказаны только в отсутствие посторонних, между тремя людьми, которые сейчас, в эту минуту, находятся на сцене, но их никто не видит. После репетиции все ушли, зал абсолютно пуст. Если бы кто-то вошел, ему бы сказали: «Кто там? Выйдите!» А при этом присутствует тысяча человек... В том и состоит подлинное электричество театра.

По исчислению одного института, в России театральной публики – от 5 до 7 процентов населения. Это очень много, больше, чем в других странах. Я настолько нагл и претенциозен, что полагаю, что публика – это часть народа. Более того, я и себя считаю частью публики, частью народа, стараясь делать на сцене то, что мне было бы интересно, не подавляясь на: «Ну вы сами понимаете, они это любят...» Когда я приезжал в некоторые клубы дальних углов, мне говорили: «Слушай, только без этих самых... у нас юмор... наша публика не поймет...» Так вот Пастернака, которого я читаю, мне как раз разъяснила публика во всех этих городах. Я начал читать Пастернака, сам его не понимая. Ну, думаю, минут пять выдержат. Так вот по их глазам, по вниманию, по вздоху, по аплодисменту я начал понимать смысл Пастернака – через публику.

Обожаю Бродского, он и сейчас со мной. Его стихи не все понимают, но ручаюсь, что в течение 15 минут любой человек, как змея при звуке флейты: «Что, что такое?..» Я редко, но позволяю себе читать поэму Бродского «Муха», которая безумно сложна, держится на одной музыке. И еще делаю такой трюк: ухожу со сцены в зал, и на сцене вообще ничего, и публика слушает непонятные слова и смотрит в пустую сцену. Поэтому и говорю о змее, которой играют на флейте.

«Пока ты пела, осень наступила. /Лучина печку растопила. /Пока ты пела и летала, /похолодало.// Теперь ты медленно ползешь по глади/ замызганной плиты, не глядя/ туда, откуда ты взялась в апреле./ Теперь ты еле//передвигаешься/ И ничего не стоит/ убить тебя. Но, как историк,/ смерть для которого скучней, чем мука,/ я медлю, муха».

И вот так идет двадцать одна строфа, связанная со смертью мухи и с собственным ощущением поэта.

ОНИ

– Кто для вас входит в понятие «они»?
– Что происходит с Россией?
– Не исчезает ли интеллигенция?

Письмо к человеку

– В застойные времена был такой тост: «Чтобы нам было хорошо, и чтоб они все сдохли!» Чтоб «они»... Имелись в виду все: наши враги, начальники, те, кто сегодня не пришел... Честно скажу: выпивать-то я выпивал, но настоящего отзыва в душе не было. Я не хвалюсь, потому что в какой-то мере обманывал, наверное, сидящих за столом, не всей душой был с ними. Они соединялись в такую дружбу против кого-то, а я в этой дружбе оказывался вроде подсадного. Потому что всегда у меня было ощущение, что «они» – это и мы тоже. И мы – это «они». Вот вроде бы совсем чужой человек, но если тебя судьба заставляет с ним связываться, ты находишь в нем свои собственные черты, можешь его понять. В принципе, на этом театр, по-моему, стоит, что ты другого можешь понять.

Я уже рассказывал эту историю – как я познакомился года четыре назад в троллейбусе с Романовым. Из-за него я ушел из БДТ, уехал из Ленинграда, потому что в городе стало невозможно жить... Самое интересное, что ни он меня, ни я его никогда не видели.

И вот в троллейбусе еду по бульвару к Пушкинской площади. Зима, народу мало, сидит человек. Пирожком шапка, воротник каракулевый, говорит мне: «Садитесь». Я: «Да не хочется». Так несколько раз переглянулись, поклонились. И я думаю: «Стоп-стоп-стоп... Кто же это такой?» Зрительная память у меня плохая, я думаю: «Это – министерство культуры. Я к нему ходил, когда запретили спектакль «Похороны в Калифорнии». Он говорит: «Я видел ваши афиши. «Игроков» вот сделали». – «Да, да». – «А в Ленинграде бываете?» – «Бываю. Но редко». – «Ну что, трудно в театре без Георгия Александровича?» – «Трудно». – «Кириллу трудно сейчас... А в доронинском театре бываете?» – «В доронинском? Нет. Ну вот один раз был». – «Да, конечно, у вас был сильный театр... А как здоровье?» – «А ваше как здоровье?» – «Ничего, ничего». И он встает. И тут какой-то глаз, какая-то сила вдруг появилась в человеке. Хотя он вообще подтянутый, аккуратный человек. Мы жмем друг другу руки. И последнее, что он говорит: «До свидания, спасибо, что вы меня узнали». А я и не узнал. И вот в момент, когда он спускается, когда закрываются двери, я вдруг его по уху, по затылку узнаю и понимаю, что это – Романов. Которого я никогда в жизни не видел. И он меня никогда в жизни не видел.

Он мне сломал десять лет жизни. Что, он для меня – «они»? Думаю, что нет. Что, я ему поперек дороги, что ли, встал? Его словом, его распоряжением все произошло: «Этого человека – изъять!» Это точно. Но не из-за того ведь, что мы с ним поссорились. Кому-то я действительно был поперек дороги, с чьей-то подачи все произошло. Но кто – «они», если даже Романов – не «они»!

Я пришел домой, рассказал Теняковой. Она говорит: «Да как ты смел! Ты вспомни, что мы пережили! Ты вспомни, как ты ему письмо писал и не послал, что с тобой было, когда у тебя рука отнялась! Ты вспомни!» Я говорю: «А что бы ты сделала?» – «Да я бы...» А в общем-то, что?.. Ну что? Вот – человек, и он – не «они». Никто – не «они».

У меня есть друг, с которым я ежедневно общаюсь. Правда, по телефону, потому что не хватает времени, но ежедневно. И вот у нас все время идет спор на одну тему: есть ли какой-то центр, который создает зло? Есть ли некий человек, который в любой ситуации говорит: «А мы сделаем вот так, еще лучше. То есть для всех – хуже, а для нас – еще лучше. Мы этого подставим, этого, наоборот, поднимем...» И все, что мы наблюдаем вокруг, это козни некоего человека.

Я бы считал, что это было бы прекрасным выходом из положения. Потому что того человека можно было бы поймать. Но поймать его нельзя, потому что его – нет. Потому что это процессы, в которых даже те, кто кажутся такими волевыми, как церетелевский Петр, который как схватился за руль, так уже и не отпустит, даже они ничего не значат. Происходит какая-то самостоятельная жизнь, в которой мы только атомы. Какой-то ответный удар, о котором я говорил, – и в общественной жизни, и в нашем будущем, – и это очень тяжело. Потому что мы – не атомы. Мы – Божьи создания. С интеллектом, с желаниями, с озарениями. Все мы, все – «мы». Без – «они».

А перемена с Россией идет, и я ее вижу, как и все. И я даже думаю, что через два года закончится целая культурная эра, культурная эпоха, которую мы назовем условно «пушкинской». Она заканчивается в год 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича. И то, что лично я принадлежу этой эре, меня очень радует. Прежде всего – язык и шкала ценностей. И, в принципе, шкала ценностей – что дорого, что недорого, за что биться, в чем честь – она и с языком связана, потому что еще пока «Евгений Онегин» остается нашим с вами разговорным языком. Пока...

Но сейчас такая мощнейшая идет атака с двух сторон, столько вошло уже новых слов, новых ритмических оборотов, такой сленг, что тот язык, который может быть назван Пушкинским, он ломается и сломается.

С одной стороны, мощнейшая общемировая атака английского языка, всевозможных английских сокращений, просто потому, что это язык мирового общения. Французы с этим борются, как могут, мы не боремся, пока принимаем. Но у нас есть еще и вторая чудовищная волна. Это – лагерная зона. Тот язык. Значит, две волны. Устоим ли? Думаю, нет. Мы попрощаемся с разговорным языком «Онегина». Он превратится в исторический язык, как Ломоносовский, хороший, но который трудно будет понимать.

И все же, все же... Знаете, я не вру, стараюсь говорить с вами очень искренне, но «насмешливость, моя подруга от самых колыбельных дней», она заставляет меня смотреть на все как-то со стороны чуть-чуть.

Я думаю, второй важнейший человек после Пушкина в нашей культуре, для меня, во всяком случае, – это Антон Павлович Чехов. Помните, «Три сестры», конец прошлого века, теперь опять прошло сто лет, мы пытаемся заглянуть в будущее, позволяем себе сказать: «Кончается эпоха Пушкина». Может, и кончается, но давайте понимать это как разговор, в котором нет окончательных выводов. Я обожаю «Трех сестер», помните там: «У вас так хорошо, у вас такая атмосфера чудная. Вы знаете, вот вас сейчас три сестры, но потом пройдут годы, будет больше, пройдет сто лет, и будут – все, вся Россия...» и так далее.

Я хочу сказать, как я сейчас отношусь к этому пассажу. Чехов и ошибся, и не ошибся. Не ошибся в том, что «три сестры» остались. Много ездя по России, много видя наших людей в эмиграции, даже там я вижу «трех сестер», то есть атмосферу домов, атмосферу культуры, доброжелательства, непонятно откуда взявшейся прозорливости – все это существует. Только в одном он ошибся, в том, что «вас будет больше». Вот сколько было, столько и есть. И в Челябинске, и в Екатеринбурге, и в Прокопьевске, откуда я только что получил письмо, но какое письмо! Вот она – «три сестры», там, в Прокопьевске. Они были при Чехове, они есть там и сейчас. Только народу стало больше раз в десять. Значит, раствор стал слабее. Вот она, наша боль, – что раствор слабее от того, что больше народу. Но чай, который мы разбавляем, добавляя кипятку, чай все-таки был замечательный, настоящий, и запах пока чувствуется.

Не подумайте, что я говорю: есть гении, и есть толпа. Мне отвратительно это ощущение. Я о другом: это – нормальное соотношение, и кто гений, а кто не гений, разберемся позже. Я не говорю, что эта девочка, Лера Авербах, – обязательно гений. Я говорю только о колоссальной энергии, которая заключена вопреки тому, что мы думаем, – вот расслабленное поколение, которое только в ларьках сидит. Действительно, большинство сидит в ларьках.

Но у меня еще есть некий Шульман, который не сидит в ларьке. Он живет в городе Дзержинске под Горьким, прислал мне прозу и стихи, я еще не дочитал, но это явно очень профессионально и хорошо. Его никто не издал, сам написал, служит в фирме. Значит, и там сидят люди, и откуда-то у них берется эта энергия. Я не говорю, что Шульман – хорошо, а весь город Дзержинск – плохо. Наоборот, я говорю: значит, город Дзержинск не так плох, как думается.

Есть ли смысл что-то делать? Я расскажу вам такую историю. Десять лет назад я ставил спектакль в Японии. Примерно через год после того, как я оттуда уехал, я получил письмо, где была фотография и общее письмо. Они возобновили спектакль, который я поставил, несколько человек заменилось – техников, осветителей. И к общему письму были приложены письма каждого из них ко мне, в том числе и новеньких, которых ни я не знаю, ни они меня. По-японски, иероглифами, без перевода. Я принял это как вежливость, как традицию. Хорошо.

Потом приезжает одна японская женщина, которая знает по-русски, и я прошу ее перевести, а то как-то неловко. Она переводит. Там написано: «Меня зовут так-то, я с вами не знакома, но я очень рада, что теперь работаю в этом спектакле осветителем, потому что прежняя родила ребенка, она шлет вам привет. У меня есть мама, а папа умер, я жила в городе Киото, а теперь работаю в Токио». И вот много таких писем.

Я говорю: «А что это? Может, это продюсер заставил их написать? Какой им во мне прок? Я далеко, к ним не вернусь. Они меня не знают». Она говорит: «А у нас так принято. Можно писать людям незнакомым. Можно писать письмо мертвым людям. Скажем, под Новый год написать умершему, что – я тебя помню». – «И... куда?» – «Можно в храм отнести и положить, а можно никуда не носить, дома положить».

И я, человек грубого европейского сознания, спрашиваю: «Ну? И что тогда?» Она говорит: «Всё. Добра больше».

Вот, кстати, насчет зрителей и тиража. Здесь не просто минимальный тираж, а отрицательный, минус-тираж – вообще ни для кого. Непосланное письмо, адресованное человеку, которого нет. И все равно оно пишется. Имеет ли оно смысл? Начинаю думать, что, может быть, и имеет.

Мой совершенно Частный привет «Общей газете». Говорят, 97-й – год больших усилий и больших свершений. Справимся?

Ваш

Фото Михаила КЛИМЕНТЬЕВА